# Трубопровод

# Джон Апдайк

Пожилой водопроводчик молитвенно наклоняется вперед в полутьме подвала в моем недавно приобретенном доме. Он указывает на драгоценную старинную муфту.

— Таких уже лет тридцать не делают, — говорит он голосом, напоминающим прорывающуюся сквозь ржавчину тонкую струю. — Тридцать, а то и все сорок. Когда я только начинал, работал с отцом, мы поступали с этой старой свинцовой муфтой так... Вытираешь ее, кладешь в кипяток, вынимаешь мокрой тряпкой и наворачиваешь. Шестнадцать поворотов, пока она остывает, иначе муфте конец: сорвешь ее — и все начинай сначала. Так мы делали, когда я был еще новичком, всего-то лет в пятнадцать-шестнадцать. А этой муфте, наверное, все пятьдесят!

Он знаток моих труб, а я только недавно стал их обладателем. Он знал их долго, при нем один владелец сменял другого. Мы воображаем себя теми, за кого себя принимаем, а на самом деле мы мешки с требухой. Считаем, что покупаем жилую площадь с хорошим видом, а в действительности наше приобретение — это лабиринт, история, целая археология труб, соединений, сифонов и клапанов. Водопроводчик показывает на темную толстую трубу, уходящую в стену фундамента.

— Видите полосу снизу? — Белый штрих, едва заметный иней на брюхе темной трубы, бледное окисление. — Не трогайте, иначе начнет протекать. Это старая канализационная труба из двух половинок. Швы должны были находиться сбоку, а получилось, что они снизу. — Он показывает ладонями, как это вышло, как разъезжается шов.

Я пытаюсь что-то разглядеть между его пальцами и почти уподобляюсь воде, стремящейся по трубам к свету.

— Вот вам и протечка! — Луч его фонарика скользит по предательской полоске. — Здесь потребуется четыре-пять новых секций.

Он вздыхает, сопит. От жизни в подвалах его глаза раскрываются шире, чем у прочих людей. Он поэт. Там, где я замечаю всего лишь изъян, досадное несовершенство, из-за которого мне придется потратиться, он благодушно размышляет о неизбывности коррозии и протечек. Я получаю от него замечательные, полные иронии счета, по совместительству каталоги мелких деталей:

оцинкованная втулка 1,25" х 1" 1 шт. 58 ц.

медный спускной краник 3/8" 1 шт. 90 ц.

черный ниппель 0,5" 3 шт. 23 ц.

От этой его старательной бухгалтерии впору спятить, но в конце концов ее превращает в ничто, проглатывает ураганная круглая цифра, относящаяся к короткому слову «работа»:

Работа 550 долл.

Думаю, эти его нежные раздумья на пару со мной, даже длинные паузы с морганием больших глаз — и есть «работа».

Покинутый нами старый дом, в миле от нового, облегченно переводит дух, оставшись без нашей мебели. Комнаты, где мы обитали, где блистали постановки наших трапез, церемоний, кустарных драм, где некоторые из нас прожили от младенчества до юности, — комнаты и лестницы, настолько пропитанные нашими каждодневными движениями, что сами их неровности вросли нам в кости, так что мы уже не нуждались в свете, — все это, вопреки моим ожиданиям, по нам не горюет. Дом торжествует, внезапно обретя объем, богатство опустевших углов. Полы, долго томившиеся под коврами, теперь сияют, как свеженатертые. В окна, избавленные от штор, беспрепятственно светит солнце. Дом снова обрел молодость. У него тоже есть свое «я», своя жизнь, которую временно затмевали наши жизни; теперь, пока сюда не въехали новые хозяева, он свободен. Пока что пол скрипит только от лунного света. Иногда я возвращаюсь сюда по утрам за всякой всячиной — подставками для дров, рамами для картин, и пространство дома приветствует меня бесстыдством своей нетронутости. Открыть входную дверь — значит впустить внутрь кошку, всегда возвращающуюся к приходу молочника и с мурлыканьем спешащую к теплым от нашего сна постелям; ее правила так крепко увязаны с нашими, что мы вот-вот сами с мяуканьем полезем на крышу. Природа суровее, чем учат экологи. Наш дом забыл нас за один день.

Я чувствую себя виноватым в том, что наше присутствие здесь было таким поверхностным, и хватило трех грузчиков и дневного ветерка, чтобы бесследно вымести нас вон. Когда мы въехали сюда лет десять назад, я удивился, что дом с потолочными балками и с каминами трехсотлетней давности не заселен привидениями. Казалось бы, возраст к ним располагает. Но соученица жены по колледжу, знаток этого дела, простукала стены в спальне, обнюхала чердак и заверила — помнится, глаза у нее были, как у водопроводчика, странно расширенные, — что все чисто. Дом построили пуритане, выращивавшие траву на сено. В девятнадцатом веке здесь могла быть таверна — рядом проходила железнодорожная ветка на Ньюберипорт. В тридцатые дом превратили в многоквартирный, его огромные комнаты разгородили фанерой, в которой съемщики наделали дыр, чтобы одалживать друг у друга сахар и муку. Сначала сельская идиллия, потом бедность. Одно время наверху держали кур, и дети сначала ныли, что в дождь чувствуют запах перьев, но я списал это на самовнушение, на силу мифа. Копаясь на заднем дворе, мы находили оловянные ложки и осколки бутылок, следы былых переездов. От нас останутся разве что разноцветные мячики для гольфа да шарики против моли за батареей. Наши привидения были видны только нам.

Я вижу мужчину в смокинге и женщину в длинном белом платье, расхаживающих по заднему двору на холодном ветру. Время — два часа пасхальной ночи, но у них смешливое настроение, они нетрезвы. Они прячут шоколадные яйца в фольге. Утром у них будет болеть голова, их разбудят своим визгом и охотничьими ссорами дети, которые полезут в постель к родителям с выпачканными шоколадом ртами и сладким дыханием, от которого теплеет на душе. Но, стоя на трезвую голову в кухне, я вижу пока что только призраки раннего утра, двоих вернувшихся с вечеринки и топчущихся на грязном дворе вокруг куста форситии. Это они — пасхальные кролики!

Мужчина наклоняется к детской кроватке, два голоса вместе бормочут молитвы. Один, правда, говорит про «грехи», другой про «долги» — результат посещения разных воскресных школ. Усталый, покашливающий (птичьи перья?), в мечтах о книге и о выпивке внизу, мужчина бредет в соседнюю комнату. Дочь взрослее сына, и когда он предлагает ей вдвоем склонить головы, она тихо просит: «Не надо, папа!» Круглое белое лицо, смутно различимое в вечерних сумерках, светится напряжением, смущением, мольбой. Он сам смущен, он вообще легко приходит в смущение; после поцелуя он пятится в коридор, закрывает за собой дверь ее комнаты, оставив ее одну в темноте.

В самой большой комнате, где на голых стенах можно вообразить невыгоревшие четырехугольники от книжных шкафов и картин, кипит спор с драматической жестикуляцией. Женщина, жена, швыряет что-то — это могла быть пепельница, но даже в гневе, с багровым лицом, она осторожно меняет ее на книгу. Она льет слезы — возможно, из-за своей пуританской неспособности швырнуть пепельницу — и убегает в другую комнату, не забыв перепрыгнуть через высокий порог, о который обычно спотыкаются новички. Дети с виноватым видом снуют вверх-вниз по лестнице, бледные, осуждающие себя в своих невинных сердечках за эту сцену. Даже пес со стыда поджимает хвост. Мужчина плюхается на давно не существующий диван. Его щиколотки сведены вместе, голова опущена, можно подумать, что он закован в кандалы. Он воспринимает себя самым драматическим образом, словно заключенного. На улице как будто стоит лето, если судить по бабочке-капустнице, бьющейся над головками садовых роз по оконной сетке. Женщина возвращается уже не с багровым, а с розовым лицом и возобновляет разговор четким, официальным тоном; мужчина вскакивает и орет. Она отвешивает ему пощечину, он отбрасывает ее руку и отвечает ей пинком, от которого испытывает удивительно приятное, пружинистое чувство. Они мечутся, поднимая клубы пыли, среди сильно мешающей им мебели. Дети на всякий случай забираются на самый верх лестницы. Пес, горбясь, как выпоротый, просится прочь из дома. Мужчина обнимает женщину, что-то шепчет, она вся румяная и теплая от слез. Он сам неожиданно для себя начинает всхлипывать, и это тоже приятно, похоже на очистительную рвоту или обильное потение. О чем говорят, о чем спорят эти взбудораженные, перепуганные люди? Они обсуждают перемену, естественный процесс, ход времени, смерть.

Смутные призраки, они тают, как дыхание на стекле. До чего же четче мое воспоминание о могучих и непостижимых пасхальных яйцах моего собственного детства, туго налитых кокосовым молоком, тяжелых, как драгоценные слитки, вместительных, словно театры, набитые бумажными силуэтами, — о миниатюрных мирах, излучавших собственный солнечный свет!.. Эти яйца неизбежным воскресным утром ложились в гнездышки, выстланные пунцовой стружкой, исторгнутые тем же неиссякаемым источником чудес, откуда выплывали звезды, где делались снимки, предшествовавшие моему рождению, и где Бог превращался в слух. Ночами я молитвенно вытягивался, как спица, на поверхности этой пучины, в доме, в темных углах которого водились диснеевские ужасы с хищными когтями, в городе с похоронной конторой на главном перекрестке и с несчетными колдовскими паролями на фасадах домов. На коврике в прихожей красовалось пятно в форме континента — там меня в детстве вырвало. Миф на мифе: вот мне три или четыре года, и я, голодная душа, ем землю из здоровенного горшка с папоротником — перистым, туманным даром тропиков. Моя бабка суеверно убеждена в том, что ребенок должен съедать по фунту грязи в год, иначе не вырастет сильным. А вот мне уже семь или восемь лет, я лежу на животе на том же самом месте и читаю моему слепому деду газету: сначала некрологи, потом сельские новости, наконец, заголовки с первой страницы про япошек и Рузвельта. Газета сильно пахнет, но не сыростью, как комиксы, а чем-то посвежее, не таким сладким, как пакет от пончиков, а, скорее, пряным — завораживающий аромат будущего, свежий и теплый, запах новизны. Этот запах, замечаю я, появляется и пропадает каждый день. А в тринадцать лет я прощаюсь с прихожей. Мы переезжаем. На ковре рядом с пятном в форме континента остались круглые вмятины от кадок с папоротниками. Достигающий их солнечный свет, не сдерживаемый шторами, как откровение. Вмятины глубоки, словно отпечатки лап динозавра.

Чувствовали ли мои дети легкомысленность наших пасхальных священнодействий? Младшая лежала в своей кроватке в меньшей из комнат наверху, сосала большой палец и смотрела мимо меня на что-то невидимое в темноте. Для нее наш дом наверняка был ужасающей громадиной, он пропитал ее память и превратил каждую царапину на краске в ключик, отпирающий люк в чудовищные глубины. Только она, одна из всех детей, осмеливалась говорить о смерти.

— Не хочу дня рождения, — заявляла она накануне своего праздника. — Не хочу, чтобы мне исполнялось девять лет.

— Все равно ты должна расти. Все растут. Деревья — тоже.

— А я не хочу.

— Не хочешь стать большой девочкой, как Джудит?

— Нет.

— Вырастешь — сможешь красить губы помадой, носить лифчик, кататься на велосипеде хоть по Сентрал-стрит.

— Не хочу ездить по Сентрал-стрит.

— Почему?

— Потому что тогда я стану совсем старенькой и умру.

На глазах у нее слезы, человек, затеявший этот разговор, прикусывает язык. Все происходит в комнатушке, где теперь от нас не осталось ничего, кроме царапин на стенах и наполовину отодранной переводной картинки со Снупи на оконной раме. Если бы мы продолжали там жить, сейчас было бы самое время вставить в окна сетки от мошкары.

В старом доме цвели крокусы; в новом вместо них нарциссы. Дети, жившие в новом доме до нас, оставили под батареями свои мячики. В дни оценки и приобретения мы, бывало, наблюдали, как эти дети прячутся за кустами и перилами своего дома и разглядывают нас, узурпаторов их будущего. Сразу после их отъезда, еще до того как в новый дом перевезли нашу мебель, мы устраивали в пустых комнатах шумные игры: рикошет от стен, прыжки до потолка. Но вскоре мячики опять потерялись. В комнатах стало тесно — мы переехали.

Водопроводчик с нежной задумчивостью демонстрирует мне отпиленный кусок трубы, ведущей из скважины к нашему водонапорному баку. Внутренний диаметр трубы не превышает размера его пальца из-за минеральных отложений — колец из тонких твердых слоев, напоминающих свернутую в трубку газету. Почему-то хочется сравнить это с книгой, стоящей на полке корешком назад, — с книгой, которую священник никому не позволяет читать.

— Видите, — говорит он, — какой нарост получается за сорок — пятьдесят лет! Помнится, когда мы с отцом устанавливали насос, эта труба уже была здесь. Ничего не поделаешь, минерализованная вода! Придется выкопать трубу и заменить новой, диаметром дюйм с четвертью или полтора дюйма.

Я представляю себе разрытую лужайку, рубящую нарциссы кирку, мои доллары, утекающие в бездонную дыру. Я протестую, но безуспешно. Водопроводчик вздыхает, как вздыхают поэты, поглядывающие одним глазом на свою аудиторию.

— Если ничего не делать, то вы запорите свой новый насос. Ему придется трудиться с удвоенной силой, чтобы подавать воду. Замените трубу сейчас — и больше никаких хлопот с насосом. Он переживет в этом доме даже вас.

Еще бы! Своими широко раскрытыми глазами он повсюду видит коррозию и течи. Мы вылезаем из люка, и над нами снова занимает место ослепительное небо со случайными — нет, вечными — облачками. Нас надолго переживет все то, что мы видим вокруг.